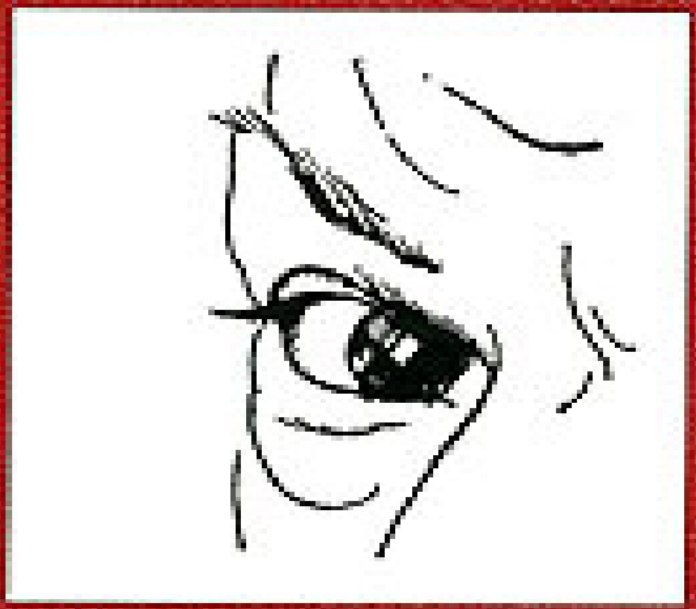
ЮРИЙ АННЕНКОВ



Ю. А.

Дневник моих встреч

ЦИКЛ ТРАГЕДИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Замечательный русский художник Юрий Павлович Анненков (1889–1974) последние полвека своей жизни прожил за границей, во Франции. Книга «Дневник моих встреч» — это воспоминания о выдающихся деятелях русской культуры, со многими из которых автор был дружен. А. Блок, А. Ахматова, Н. Гумилев, Г. Иванов, В. Хлебников, С. Есенин, В. Маяковский, М. Горький, А. Ремизов, Б. Пастернак, Е. Замятин, Б. Пильняк, И. Бабель, М. Зощенко, Вс. Мейерхольд, В. Пудовкин, Н. Евреинов, С. Прокофьев, М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Бенуа, К. Малевич и другие предстают на страницах «Дневника…», запечатленные зорким глазом художника. Рядом с людьми искусства — государственные и партийные деятели первых лет революции, прежде всего Ленин и Троцкий.

- Юрий Анненков
  - ○
  - ○
- notes
  - ○ 1

Юрий Анненков
Анна Ахматова

Глава из книги «Дневник моих встреч»

Туманы, улицы, медные кони, триумфальные арки подворотен, Ахматова, матросы и академики, Нева, перила, безропотные хвосты у хлебных лавок, шальные пули бесфонарных ночей — отлагаются в памяти пластом прошлого, как любовь, как болезнь, как годы.

Б. Темирязев

Автопортрет, написанный Ахматовой, с очень большим сходством, в 1913 году

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

И бледный рот слегка разжат.
Неровно трудное дыханье,

И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Я встретился впервые с Анной Андреевной в Петербурге, в подвале «Бродячей Собаки», в конце 1913-го или в начале 1914-го года, после моего трехлетнего пребывания за границей, где мы, может быть, тоже видели друг друга, не зная об этом. В предисловии («Коротко о себе») к своей книге стихов (1961), Ахматова пишет:

«Две весны (1910 и 1911) я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета».

В 1911-м году я тоже жил в Париже и присутствовал, в огромном театре Шатле, на триумфальной премьере русского балета Александра Бенуа — Игоря Стравинского — Михаила Фокина «Петрушка» и на других спектаклях Дягилевской труппы.

На следующей странице того же предисловия говорится: «Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно, и с большим интересом, заниматься архитектурой старого Петербурга».

Это было также и моим увлечением, захватившим меня, когда я был еще подростком. Сестра моего отца, моя тетка, Анна Анненкова, вышла замуж за Николая Воронихина (личный врач императора Александра Третьего), внука Андрея Никифоровича Воронихина, знаменитого русского зодчего, о котором я уже говорил в главе, посвященной Максиму Горькому. С детских лет я любовался в квартире Воронихиных автопортретом их предка, висевшим на стене в просторной зале, и его архитектурными рисунками. Уже в гимназические годы я любил узнавать на улицах строения Бартоломео Растрелли, Доменико Трезини, Джиакомо Гваренги, Антонио Ринальди, Карло Росси, Валлэна де ля Мот, Андреаса Шлютера, Ричарда де Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Стасова, Захарова… Петербургская классика.

Вся поэзия Ахматовой напоена петербургским воздухом. Поэзия Петербурга. Понятие трудноопределимое. Но мы, петербуржцы, это отчетливо чувствуем.

Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь Великого Петра.

Или:

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой, на Галерной
Наши тени навсегда.

…….

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

(1913)

Может быть, поэтому Георгий Иванов посвятил Ахматовой стихотворение:

Петр в Голландии

На грубой синеве крутые облака
И парусных снастей над ними лес узорный.
Стучит плетеный хлыст о кожу башмака.
Прищурен глаз. Другой прижат к трубе подзорной.

Поодаль, в стороне — веселый ротозей.
Спешащий кауфер, гуляющая дама.
А книзу, у воды — таверна «Трех Друзей»,
Где стекла пестрые с гербами Амстердама!

Знакомы так и верфь, и кубок костяной
В руках сановника, принесшего напиток,
Что нужно ли читать по небу развитой
Меж труб и гениев колеблющийся свиток?

Петербургские ночи, «Бродячая Собака» — ночной кабачок, расписанный Сергеем Судейкиным и посещаемый преимущественно литературно-художественной богемой. Борису

Пронину, основателю «Бродячей Собаки», следовало бы поставить памятник. Объединить в своем подвальчике, на Михайловской площади, всю молодую русскую литературу и, в особенности, русскую поэзию, в годы, предшествовавшие первой мировой войне, было, конечно, не легко, и это нужно считать огромной заслугой.

Я помню, как Александр Блок, Андрей Белый и Валерий Брюсов, вожди символизма, читали там свою поэзию. Я помню, как впервые выступил там перед публикой юный Георгий Иванов; как Николай Евреинов читал и мимировал свои сценические миниатюры; как Велимир Хлебников мычащим голосом провозглашал «заумное»… Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Георгий Адамович, Осип Мандельштам, Бенедикт Лившиц, Владимир Пяст, Михаил Кузмин, Константин Олимпов, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Федор Сологуб, Василий Каменский, даже — Маринетти, даже Эмиль Верхарн…

Анна Ахматова, застенчивая и элегантно-небрежная красавица, со своей «незавитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов, — читала, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова. Пожалуй — Владимир Маяковский. Но если чтение Ахматовой, полное затушеванной напевности ее тихого голоса, было чтением «под сурдинку», то Маяковский скандировал свои поэмы «во весь голос», как он озаглавил одну из самых последних своих вещей, написанную незадолго до самоубийства. Стихи Маяковского тоже нужно было не только читать, но и слушать в исполнении автора. Когда он читал свою поэзию с эстрады или просто в моей комнате, то можно было подумать, что слышишь ритмический грохот заводских машин.

Одно из первых стихотворений Ахматовой, услышанное мной в ее чтении, относилось к Пушкину и к Царскому Селу, где она провела свое детство и юность:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных, глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Тогда же (а может быть, несколько позже) Ахматова прочла, или напевно прошептала, стихотворение «Вечером»:

…Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как непохожи на объятья
Прикосновенья этих рук…

…А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса:
Ты в первый раз одна с любимым».

Эти строфы говорят о Гумилеве.

И потом — еще одно восьмистишие, посвященное Н. Гумилеву, ее мужу, и написанное в 1912-м году:

В ремешках пенал и книги были,
Возвращался я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.

Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок,
А на жизнь мою, лучом нетленным,
Грусть легла, и голос мой незвонок.

Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были тоже символом поэзии.

В «Бродячей Собаке» Ахматова прочитала однажды стихотворение, посвященное Александру Блоку (1914 г.):

Я пришла к поэту в гости.
Ровно в полдень; в воскресенье;
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз…

…Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Я вспомнил это стихотворение потому, что я тоже был у Блока в этом доме, «у морских ворот Невы», в просторной комнате, которая навсегда запомнилась.

Приблизительно в то же время (декабрь 1913 г.) А. Блок написал стихотворение:

Анне Ахматовой

«Красота страшна», Вам скажут
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

«Красота проста», Вам скажут
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащий,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, что жизнь страшна».

Обмен монологами между двумя крупнейшими поэтами нашей эпохи.

В 1916-м году Ахматова послала Блоку одну из своих новых поэм — «У самого моря» — и получила в ответ следующее

письмо:

«Многоуважаемая Анна Андреевна, хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов авторов ИЗВЕСТНЫХ и НЕИЗВЕСТНЫХ: всегда почти — посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, и скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия, — что стихов я не люблю; следующая — что стихи, вообще, занятие праздное; дальше — начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да — то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.

Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого отрадного, светлого, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши вовсе не знала, у САМОГО моря, САМЫЙ нежный, САМЫЙ кроткий (в ЧЕТКАХ), постоянные СОВСЕМ (это, вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже СЮЖЕТ; не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо ЭКЗОТИКИ, не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больней. — Но все это пустяки, поэма настоящая и Вы — настоящая.

Преданный Вам Ал. Блок».

Пять лет спустя, по поводу выхода в свет второго издания «У самого моря» («Алконост», Петербург, 1921) поэтесса Мариэтта Шагинян писала (январь 1922):

«Разлука с книгой, — как с человеком, — испытание. После нее или не узнаешь вовсе, или видишь, что в забытьи — никогда ничего не забывалось, а только врастало в память, входило без имени в судьбу, в развитие вкуса, в язык, даже в веру…

Такая вечно-незабываемая, и в забытьи животворящая, книга — поэма Ахматовой „У самого моря“. Сейчас, когда старые издания исчезли, многие (особенно нынешний, недавно подросший читатель) и вовсе не читали этой поэмы. Для них она будет открытием; для нас — откровением.

Разве не откровение то, что образы и ритм этой вещи, вначале таившие для нас острое, главным образом ЭСТЭТИЧЕСКОЕ очарование, нынче стали вдруг простыми и насущными, как произведения классические? Все в них сгустилось, опростилось, вошло в обращение, стало элементом речи. Ритм, казавшийся изломанным, обнаружил глубочайшее сродство с русскою народною песней. Образы, простота которых в

ту пору казалась изысканной (именно изысканной, задуманной), нынче воистину становятся простотою, рисунком верным и вечным по своей абсолютной правде…

Вся поэма кажется вам чудеснейшей раковиной, полной шуму от моря и ветра (и от прилива крови к голове), совсем так, как если бы вы приложили к уху настоящую раковину…

Изысканная петербурженка, питомица когда-то модного акмеизма, такая модная и сама, она таит под этой личиною чудеснейшую, простейшую, простонародную лирику, воистину простонародную и вечную именно в этом неувядаемом, подпочвенном ее естестве…

Это — не исследование, а только любовная встреча с книгой, ставшей для меня, сквозь испытание пятилетней разлуки, — неисчерпаемо нужной и близкой.

Из всех, ныне живущих русских поэтов, Анна Ахматова — самый нужный русский поэт. Мы умеем любить ушедших. ЕСЛИ БЫ НАУЧИЛИСЬ МЫ БЕРЕЧЬ И ЛЮБИТЬ ЖИВУЩИХ!»

Воспоминаниям об Александре Блоке Ахматова осталась верна до сих пор. Так, в 1944–1960 годах (то есть, через 23–39 лет после смерти поэта) она посвятила ему три стихотворения:

1

…Там все теперь сияет, все в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока.

2

…И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок
Трагический тенор эпохи.

3

Он прав — опять фонарь, аптека,[1]
Нева, безмолвие, гранит…

Как памятник началу века,
Там этот человек стоит…

Ахматова написала свое первое стихотворение, по ее собственному признанию, в одиннадцатилетнем возрасте, в 1900 году. Печататься стала в 1911-м году. Через год вышел первый сборник ее стихов «Вечер», принесший ей заслуженную известность. Следующий сборник «Четки» сделал ее славу равной славе Блока, и с этого года (1914) сборники стихов Ахматовой постепенно становятся настольными книгами целого поколения. «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini».

О сборнике «Anno Domini», вышедшем в 1922-м году (изд. «Петрополис», Петербург), замечательно отозвался Виктор Шкловский.

«Это как будто отрывки из дневника, — писал он. — Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи.

Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну.

Нельзя разлучать этих стихов.

В искусстве рассказывает человек про себя, и страшно это, не потому, что страшен человек, а страшно открытие человека…

Нет стыда у искусства…

Почему же поэты могут не стыдиться? Потому, что их дневник, их исповеди превращены в стихи…

Человеческая судьба стала художественным приемом.

Приемом.

Да, приемом.

Это я сейчас перерезаю и перевязываю пуповину рожденного искусства.

И говорю:

Ты живешь отдельно.

ПРОСЛАВИМ ОТОВАННОСТЬ ИСКУССТВА ОТ ЖИЗНИ, прославим смелость и мудрость поэтов, знающих, что ЖИЗНЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В СТИХИ, УЖЕ НЕ ЖИЗНЬ.

Она входит туда по другому отбору.

Так крест распятия был уже не деревом…

Свобода поэзии, отличность понятий, входящих в нее, от тех же понятий до претворения — вот разгадка лирики.

Вот почему прекрасна прекрасная книга Анны Ахматовой и позорна была и будет работа критиков всех времен и народов, разламывающих и разнимающих стихи поэта на признания и свидетельства».

Юный Георгий Иванов — о «Подорожнике» (1921):

«Новая книга „Подорожник“ Анны Ахматовой есть как бы антология всего творчества поэта… Вряд ли я ошибусь, предположив, что в „Подорожнике“ собраны стихи, не вошедшие в предыдущие сборники, благодаря чрезмерной строгости поэта к самому себе, — чрезмерной, так как и среди собранных в ПОДОРОЖНИКЕ есть целый ряд превосходных, которые всеми ценителями поэзии прочтутся с волнением и радостью. Вот одно из них:

Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.

Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит.

Ахматова принадлежит к числу тех немногих поэтов, каждая строчка которых есть драгоценность. „Подорожник“… — это прекрасная и живая книга, которая не только прочтется, но будет неоднократно перечитываться».

Георгий Иванов был прав. Сколько раз я перечитывал «Подорожник», как, впрочем, и другие книги Ахматовой? А детский шепот о сыче и Мурке (записанный поэтессой еще в 1914-м году) давным-давно запомнил наизусть.

Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы! Я сделал с Ахматовой в 1921-м году два портретных наброска: один — пером, другой — в красках, гуашью. Ахматова позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку на грудь. Во время сеанса мы говорили, вероятнее всего, о чем-нибудь весьма невинном, обывательском, о каком-нибудь ни-о-чем. Портрет, сделанный пером, был сначала воспроизведен в книге моих портретов (изд. «Петрополис», Петербург, 1922), затем, в 1923-м году — во втором издании «Anno Domini». После этого, в течение многих лет, он воспроизводился во Франции, Германии, Италии, Соединенных Штатах Америки, Аргентине и в других странах. Об этом рисунке Евг. Замятин писал:

«Портрет Ахматовой — или, точней: портрет бровей Ахматовой. От них как облака — легкие, тяжелые тени по лицу, и в них — столько утрат. Они, как ключ в музыкальной пьесе:

поставлен этот ключ — и слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные четки на гребне».

Оригинал этого рисунка принадлежит Я. Н. Блоху, основателю издательства «Петрополис». Второй красочный портрет был впервые воспроизведен во Франции, в 1962-м году, в журнале «Возрождение». Этот портрет до сих пор висит в Париже, в моем рабочем кабинете.

А. Блоком и Г. Ивановым не исчерпывается список поэтов, посвятивших свои произведения Ахматовой. Н. Гумилев посвятил ей целый сборник. Вот стихотворение Марины Цветаевой:

Ахматовой

Чем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!..

…Не загладить тех могил
Слезой, славою.
Один заживо ходил
Как удавленный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был, сокол!)
Разом выбыли.

Высоко твои братья!
Не докличешься!
Яснооконька моя,
Чернокнижница!..

И еще — цветаевский отрывок из стихов «К Ахматовой»:

…Но вал моей гордыни польской
Как пал он! — С златозарных гор
Мои стихи — как добровольцы
К тебе стекались под шатер.

Следя полночные наезды
Бдил добровольческий табун,
Пока беседовали звезды
С Единодержицею струн.

Этот отрывок уже похож на культ…

Несмотря на свою громкую славу и на страшную эпоху войны и революции, поэзия Ахматовой, верной своим чувствам, оставалась по-прежнему интимной, сохраняя аристократическую сдержанность и простоту своих форм. Именно в этом сказывалась гипнотическая сила ее стихов, благодаря чему строфы Ахматовой, услышанные или прочитанные всего один раз, часто сохранялись в памяти на долгое время.

Те же непосредственность, простота, порой — застенчивая шутливость (с грустной улыбкой) и полное отсутствие претенциозности Ахматовой всегда удивляли меня при встречах и беседах с ней.

В начале двадцатых годов Ахматова жила некоторое время в одной квартире со своей давней подругой, Ольгой Афанасьевной Глебовой-Судейкиной, о которой я упоминал в главе об Александре Блоке. Мне известны два стихотворения Ахматовой, посвященные Оленьке Судейкиной:

Голос памяти

Что ты видишь, тускло на стену смотря,
В час, когда на небе поздняя заря?

Чайку ли на синей скатерти воды,
Или флорентийские сады?..

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?..

(1913, сборник «Четки»).

Второе стихотворение — без названия:

О.А.Г.С.

Пророчишь, горькая, и руки уронила,
Прилипла прядь волос к бескровному челу,
И улыбаешься — о, не одну пчелу
Румяная улыбка соблазнила
И бабочку смутила не одну…

(1921, сборник «Anno Domini»).

Как-то раз, после вечера, проведенного во «Всемирной Литературе», зябкой ночью поздней осени, я провожал Оленьку до ее дома. Пошел дождь, превратившийся в ливень. Подойдя к подъезду, Оленька предложила мне зайти к ней посидеть, так как у меня не было ни зонтика, ни непромокаемого пальто. Было около часа ночи, но я согласился. Оленька провела меня в свою комнату. В другой комнате Ахматова была уже в постели, и я ее не увидел. Мы говорили с полчаса с Судейкиной. Ливень за окном не унимался.

— Ложись на диван, — сказала Оленька, — уйдешь завтра утром, авось подсохнет.

В комнате Судейкиной, кроме ее постели, была еще небольшая оттоманка с подушками. Я снова согласился. Квартира, разумеется, не отапливалась. Не сняв пиджака, я прилег на диван. Оленька подняла с полу небольшой коврик и прикрыла им меня.

— Немножко грязненький, но все же согреет, — добавила она, погасила свет и стала раздеваться, чтобы лечь в свою постель. Через несколько минут я заснул. Меня разбудил легкий стук в дверь комнаты. Оленька, укутанная одеялами, проснулась тоже. Было светлое утро. Дверь приотворилась, и в комнату вошла Ахматова с подносом, на котором — чашки, липовый чай, непременный сахарин и ломтики черного хлеба. На темном платье — полосатый передник.

— Принесла ребятишкам покушать, — улыбнулась Ахматова, — потчуйтесь на здоровье!

Все засмеялись. Откинув коврик, я встал с оттоманки и одернул пиджак. Судейкина присела на постели, прикрытая до пояса одеялом. Ливень кончился, сквозь оконные шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и что может быть скромнее и уютнее этой сцены? Я должен сознаться, что липовый чай с сахарином были в тот день для меня много вкуснее, чем самые изысканные блюда где-нибудь в Tour d'Argent или у Максима (что подтверждает очень модную в те годы «теорию относительности» Эйнштейна).

В сталинский период, в тридцатых годах, Ахматова, подобно

Пастернаку и ряду других художников пера, вынуждена была, как поэт, умолкнуть и заняться другими вещами. Но в так называемые «патриотические» годы второй мировой войны, прозванной «отечественной», восстановившей (по приказу коммунистического интернационала) военные чины, погоны, эполеты, народившая маршалов и вернувшая к жизни раздавленный термин «Родина», — поэзия Ахматовой вновь зазвучала. По окончании войны, в первых числах августа 1946-го года, приезжали в Париж Илья Эренбург и Константин Симонов. Русские писатели, жившие в Париже, устроили для советских гостей дружеский прием, в квартире Аркадия Руманова. Встречи с советскими приезжими меня всегда интересуют, и я тоже пришел на этот вечер. Говоря о литературной жизни в Советском Союзе, Эренбург рассказал, между прочим, о первом выступлении Ахматовой после ее возрождения. Это произошло в Москве, в Колонном зале Дома Союзов (где, в 1924 году, состоялись траурные церемонии вокруг трупа Ленина). Когда Ахматова появилась на эстраде, то все присутствовавшие в зале (их было около трех тысяч человек) встали и стоя прослушали все ее стихотворения, после чего бурным аплодисментам не было конца. Эренбург рассказывал об этом весьма торжественно, желая показать «либеральность» советского режима.

В поздний час, уходя с нашего приема, Эренбург и я условились встретиться через два дня в его отеле, на улице Бак. По случайному совпадению, накануне этой встречи, я прочел в какой-то советской газете (вероятно — в «Правде») извещение о том, что поэзия Ахматовой была снова резко осуждена постановлением ЦК ВКП(б) от 14-го августа, вновь прекращена печатанием и что Ахматова исключена из Союза писателей СССР. Вот текст этого «постановления», который я выписал из сборника «Советский театр и современность», изданного в Москве, в 1947-м году:

> «Журнал „Звезда“ всячески популяризирует произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА, не желающей идти в ногу

со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Предоставление Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей…

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал „Ленинград“, который постоянно предоставлял свои страницы для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой…

ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей и, в частности, его председатель т. Тихонов, не только не вели борьбы с вредными влияниями Ахматовой, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов…

ЦК ВКП(б) постановляет: прекратить доступ в журнал произведений Ахматовой».

Не больше и не меньше. Впрочем, нет: больше, так как в том же сборнике помещен текст доклада Андрея Жданова — на ту же тему:

«О литературном ТВОРЧЕСТВЕ Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве…

Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА, КРАСОТЫ РАДИ КРАСОТЫ, знать ничего не хотели о народе, о его нуждах и интересах, об общественной жизни…

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся

барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности — чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, — мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, ДОБРЫХ СТАРЫХ ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЕН. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…

(Ахматова, „Anno Domini“).

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожной и религиозно-мистической эротикой.

Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Это — поэзия десяти тысяч верхних слоев старой дворянской России, обреченных, которым ничего уже не оставалось, как только вздыхать по ДОБРОМУ, СТАРОМУ ВРЕМЕНИ. Помещичьи усадьбы екатерининских времен с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными гербами на воротах. Дворянский Петербург; Царское Село, вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Все это кануло в невозвратимое прошлое!.. ВСЕ РАСХИЩЕНО, ПРЕДАНО, ПРОДАНО, — так пишет Ахматова…

Почему вдруг понадобилось популяризировать поэзию Ахматовой? Какое она имеет отношение к нам, советским людям? Почему нужно предоставлять литературную трибуну всем этим упадочным и глубоко чуждым нам литературным направлениям?..

И вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить. Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала, и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии.

В журнале „Ленинград“, в одном из номеров, опубликовано нечто вроде сводки произведений Ахматовой, написанных в период с 1909 по 1944 год. Там наряду с прочим хламом есть

одно стихотворение, написанное в эвакуации во время Великой Отечественной войны. В этом стихотворении она пишет о своем одиночестве, которое она вынуждена делить с черным котом. Смотрит на нее черный кот, как глаз столетия. Тема не новая. О черном коте Ахматова писала и в 1909 году. Настроения одиночества и безысходности, чуждые советской литературе, связывают весь исторический путь творчества Ахматовой.

Что общего между этой поэзией, интересами нашего народа и государства? Ровным счетом ничего. Творчество Ахматовой — дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших журналов… Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?! А между тем Ахматову с большой готовностью печатали то в „Звезде“, то в „Ленинграде“, да еще отдельными сборниками издавали. Это грубая политическая ошибка…

Возьмите далее тему о советской женщине. Разве можно культивировать среди советских читателей и читательниц присущие Ахматовой постыдные взгляды на роль и призвание женщины, не давая истинно правдивого представления о современной советской женщине вообще, о ленинградской девушке и женщине-героине, в частности, которые вынесли на своих плечах огромные трудности военных лет, самоотверженно трудятся ныне над разрешением трудных задач восстановления хозяйства?..

Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Ахматовой и подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеологии. Старый Петербург, Медный Всадник, как образ этого старого Петербурга, — вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград как передовой центр советской культуры».

Приведенный выше текст постановления ЦК ВКП(б) был, в частности, опубликован полностью в Москве, в журнале «Культура и Жизнь», № 6, от 20-го августа 1946-го года. Полный

текст доклада А. Жданова — в том же журнале, в № 10, от 30-го сентября 1946-го года. Но для меня было достаточно и краткого газетного сообщения о том, что поэзия Ахматовой снова запрещена к печатанью и что Ахматова исключена из Союза писателей СССР, чтобы при новой встрече с Эренбургом в гостинице на улице Бак, спросить его, что он теперь скажет об Ахматовой? Эренбург недружелюбно взглянул на меня и заявил, что он ничего не скажет, так как еще «недостаточно осведомлен».

«Эротические мотивы»! Я никогда не чувствовал их в поэзии Ахматовой. Любовь — да. О любви она писала много. Но о любви писал и Пушкин. И разве только один Пушкин? И все — по-разному.

Юрий Мандельштам (Юрий, а не Осип) говорил в своей статье «О любви» (сборник «Литературный смотр», Париж, 1939):

«Любовь меняется, ибо меняется сознание и духовное содержание человека… Любовь — не отвлеченное понятие, а живая реальность… Любовь непрерывная цепь чудес… Само возникновение любви — чудо… В любви есть неиссякаемый источник лиризма. Вероятно, поэтому любовь всегда была основной темой поэзии… Любовь — не только тема поэзии, но и ее источник…

Некоторые люди любят повторять, что не верят в любовь. Для меня это звучит так же, как если бы они заявили, что не верят в воздух, которым дышат. Ахматовские строчки:

> Придумал какой-то бездельник,
> Что бывает любовь на земле

не больше, чем раздраженная реакция утомленного психологизмом сознания. Если бы Ахматова усомнилась в существовании любви на самом деле, то не писала бы об этом стихов…

Стендаль, в бытность свою консулом в Чивитга-Веккии, предчувствуя приближение смерти, сам составил себе эпитафию: АНРИ БЕЙЛЬ. ЖИЛ, ПИСАЛ, ЛЮБИЛ. Я не знаю более достойной надгробной надписи».

Любопытно также (если этот легкомысленный термин в данном случае применим) читать ждановский «марксо-ленинский-сталинский» материалистический бред — рядом с процитированными здесь статьями Мариэтты Шагинян и Виктора Шкловского.

Впрочем, ничто не вечно под луной. В толстом московском ежемесячном журнале «Новый Мир», от 1959-го года, в статье того же Шкловского «Несколько слов о реализме у нас и на

Западе», я прочел:

«Путь социалистического реализма не выдуман и не сейчас возик, он путь для человечества; он неизбежен; человечество движется вперед, только осознавая себя и свою общность».

Я покинул Советский Союз летом 1924-го года, семь месяцев спустя после смерти Ленина, и с тех пор не встречал Анну Андреевну Ахматову, не переставая, однако, читать все ее вещи, которым удавалось проникнуть в печать. И вот, в последних числах июня 1961-го года, то есть — в пятилетие хрущевской «десталинизации», я получил из Москвы только что вышедший в Государственном Издательстве Художественной Литературы сборник стихотворений Анны Ахматовой, от 1909-го до 1960-го года. Благоговейно раскрыв его, я увидел на титульном листе следующую надпись, сделанную пером, от руки:

Милому
Юрию Павловичу
Анненкову,
дружески
Ахматова.
Москва, 20 июня 1961 г.

Мне не стыдно теперь признаться: прочитав эти строки, я, несмотря на мой возраст, не мог удержать слез.

В качестве фронтисписа, в книге помещен фотографический портрет Ахматовой, снятый в сороковых годах, когда Ахматова уже вступала в пятое десятилетие своей жизни. Но этот снимок оказался до странности похожим на мой гуашный портрет: тот же взгляд, та же «незавитая челка», прикрывшая лоб, тот же поворот лица, то же скромное декольте.

Этот томик — одна из моих самых незаменимых драгоценностей.

В конце уже упомянутого предисловия «Коротко о себе» Ахматова пишет: «Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи».

Читатель, знающий Ахматову, никогда в этом не сомневался. Он жалеет только, что в новой книге, носящей ретроспективный характер (1909 — 1960), нет ни одного стихотворения, написанного в 1923, 1925, 1926, 1928, 1930, 1932, 1933, 1935, 1937 и 1938 годах. Затем — снова пустыня: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 годы. Читатель жалеет также, что 1927, 1929, 1931, 1934, 1939, 1956 и 1957 годы принесли ему в этой книге всего по одному стихотворению. Читатель выражает надежду, что в ближайшем будущем поэзия Ахматовой этих «стертых» лет станет, наконец, для него доступной.

Впрочем, очень немногочисленные строки, написанные в эти годы, сумели появиться в сборнике Ахматовой «Реквием», выпущенном Товариществом Зарубежных Писателей (Мюнхен, 1963).

Для меня — «Реквием» А. Ахматовой — возрождение ее укрытой поэзии.

5 июня 1965 года на мою долю выпал счастливый случай присутствовать, в амфитеатре Оксфордского университета, на торжественной церемонии присуждения Анне Ахматовой звания доктора honoris causa. Кроме Ахматовой, таким же дипломом были одновременно награждены английский поэт Сигфрид Бассин, английский прозаик Жофрей Кейнс и итальянский профессор, флорентинец Джианфранко Контини, специалист по Данте.

Трудно сказать, кого было больше среди переполнившей зал публики: людей зрелого возраста или молодежи, в большинстве, вероятно, студенческой.

Появление Ахматовой, облаченной в классическую «докторскую» тогу, вызвало единодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную овацию после официального доклада о заслугах русской поэтессы.

Часа через два после этого события, в моей отдельной комнате раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Оксфорде, Ахматова просила меня возможно скорее приехать к ней. Я не замедлил исполнить ее желание.

— Страшно подумать: почти полных полвека! — сказала Ахматова, протянув мне свою руку.

Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминание, вопросы, разговор обо всем. Ахматова сказала мне, что она получала все мои письма и что советские туристы, бывавшие в Париже и видевшие меня, всегда передавали ей мои приветы. Меня чрезвычайно тронуло, что Ахматова вспомнила даже о том, как в 1921 году она позировала мне в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, солнечный июльский день, и что она была одета в очень красивое синее шелковое платье.

Но еще более меня тронуло нечто совершенно неожиданное: Ахматова привезла с собой в Оксфорд и подарила мне одну страшно ценную для меня фотографию, относящуюся к первым дням войны 1914 года. В один из этих дней, зная, что по Невскому проспекту будут идти мобилизованные, Корней Чуковский и я решили пойти на эту улицу. Там, совершенно случайно, с нами встретился и присоединился к нам Осип Мандельштам, о котором Ахматова написала замечательную

статью в нью-йоркском журнале «Воздушные Пути» (№ 4, 1965). Когда стали проходить мобилизованные, еще не в военной форме, с тюками на плечах, то вдруг из их рядов вышел, тоже с тюком, и подбежал к нам поэт Бенедикт Лившиц. Мы обнимали его, жали ему руки, когда к нам подошел незнакомый фотограф и попросил разрешение снять нас. Мы взяли друг друга под руки и были так вчетвером сфотографированы…

Ахматова приехала в Оксфорд в сопровождении очень симпатичной, молоденькой Ани Каминской, внучки Николая Пунина, известного русского искусствоведа, теоретика и защитника авангардных форм художественных исканий в первые годы революции, с которым я был в товарищеских отношениях. Второй спутницей была американская студентка, проживающая в Англии, Аманда Чейс Айгт, изучающая русский язык и уже неплохо говорящая на нем. Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой.

Я виделся с Ахматовой в Оксфорде три раза. Само собой разумеется, наши разговоры сводились главным образом к взаимным расспросам о литературе, об изобразительном искусстве, о музыке, о театре — в СССР и за рубежом, а также — о наших общих друзьях, живущих там и живущих здесь.

Мы расстались очень дружески, и я вернулся в Париж 8 июня. Но 17 июня, неожиданно, Анна Ахматова тоже приехала в Париж, где пробыла четыре дня. По случайному совпадению она поселилась в отеле «Наполеон», на авеню Фриэдланд, около площади Этуаль, отеле, управляемом Иваном Сергеевичем Маковским, сыном Сергея Константиновича Маковского, поэта и основателя знаменитого художественно-литературного журнала «Аполлон», где Пыли напечатаны ранние стихотворения Ахматовой, о чем я подробнее говорю в главе, посвященной С. Маковскому. Иван Маковский, узнав, что в его отеле остановилась Ахматова, послал в ее комнату огромный букет цветов.

Встретившись в этом отеле, мы заговорили о наших далеких парижских воспоминаниях, о балетах Дягилева и, конечно, о художнике Амедео Модильяни, сделавшем с Ахматовой несколько портретных набросков в 1911 году, и о котором она тоже интересно рассказала в журнале «Воздушные Пути». Затем — о монпарнасских кофейнях, о ночных кабачках Монмартра и Латинского квартала, но вскоре, незаметно, оказались на Михайловской площади в Петербурге, в «Бродячей Собаке» Пронина. Там Ахматова поведала мне, что название питерской улицы, на которой я жил и где Ахматова мне позировала — Кирочная улица было, в месяцы осады Петербурга гитлеровской

армией, заменено другим именем, потому что слово «Кирочная» происходит от немецкого слова Kirche (церковь). На этой улице, действительно находилась немецкая церковь, при немецкой школе (Annen-schule)…

Я пригласил Ахматову приехать ко мне к обеду на следующий день с Аней Каминской и с американской студенткой. Ахматова сразу же согласилась, и суббота 19 июня останется для меня одним из незабываемых дней. В рабочем кабинете и в библиотеке, на стенах — мои портреты Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Казимира Малевича, Алексея Толстого, Никиты Балиева, Леонида Андреева (1911 г.), Валерия Инкижинова, а также — гуашный портрет Ахматовой, знакомый ей лишь по фотографиям, так как он был закончен мною уже в Париже.

— Мне кажется, что я вернулась в мою молодость, — прошептала Ахматова, оглядываясь на эти рисунки.

— Мне тоже, потому что ВЫ здесь, — ответил я…

21 июня, в 11 часов утра, Ахматова и Каминская уезжали в Москву, с Северного вокзала. Я приехал туда проводить их, Аня и Аманда сидели на перроне, что-то записывая друг другу. Я встретил там же художника Димитрия Бушена, Сергея Эрнста и приехавшую из Америки Нину Берберову, с которой я не виделся уже многие годы.

Анна Ахматова была уже в купе спального вагона Париж-Москва. Она сказала мне, что утром, вследствие усталости и сильных душевных волнений, у нее начались боли в груди и что ей пришлось принять специальные пилюли, но что теперь все уладилось и она чувствует себя хорошо. Я спросил, какое у нее осталось впечатление от этого почти трехнедельного пребывания за границей? Ахматова сказала, что она никак не ожидала такого радушного, такого теплого приема со стороны всех, кого она встретила и с кем ей удалось беседовать, и что она никогда не забудет этого путешествия. Мы трижды поцеловались.

Когда поезд тронулся, Ахматова и Аня, стоя у открытого окна вагона, очень ласково махали нам руками до тех пор, пока вагон не скрылся.

notes

Примечания

1

Ссылка на стихотворение А. Блока (1912 г.):

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века
Все будет так. Исхода нет.